

RU

## Образ матери в творчестве Элизабет Барретт Браунинг

Нагайцева К. А.

**Аннотация.** Цель исследования – сформулировать целостную модель концепции материнства в поэзии Элизабет Барретт Браунинг. Научная новизна заключается в том, что в статье впервые выявлен и обоснован комплекс факторов, оказавших влияние на эволюцию этой концепции. В результате предложена этапизация материнского дискурса: от ранних, преимущественно религиозно-сакрализованных сценариев утраты и назидательного «утешения» – к поздним текстам, где материнский опыт психологически углубляется и политизируется. Показано, что сквозным механизмом репрезентации становится мотив дистанцирования матери и ребёнка (через смерть, взросление, социальное насилие), а материнская любовь осмысливается как амбивалентная – одновременно защитная и ограничивающая, дарующая «власть» и обнаруживающая уязвимость женщины. Установлено, что изменения обусловлены сочетанием биографического опыта (замужество, рождение ребёнка, репродуктивные утраты), викторианских гендерных нормативов и социально-политической проблематики (детский труд, рабство, классовое неравенство). В статье анализируются ключевые тексты раннего и позднего периодов, а также поэма «Аврора Ли», что позволяет сопоставить религиозные, социальные и личностные измерения материнства в художественном мире автора.

EN

## The image of a mother in Elizabeth Barrett Browning's poetry

K. A. Nagaytseva

**Abstract.** The aim of the study is to formulate a coherent model of the concept of motherhood in the poetry of Elizabeth Barrett Browning. Scientific novelty lies in the fact that, for the first time, the article identifies and substantiates a set of factors that influenced the evolution of this concept. As a result, the article proposes a periodization of the maternal discourse: from early, predominantly religiously sacralized scenarios of loss and didactic “consolation” to later texts in which maternal experience becomes psychologically deepened and politicized. It is shown that the recurrent mechanism of representation is the motif of distancing between mother and child (through death, growing up, and social violence), while maternal love is conceptualized as ambivalent – both protective and restrictive, conferring “power” yet revealing women’s vulnerability. It is established that these changes are driven by a combination of biographical experience (marriage, childbirth, reproductive losses), Victorian gender norms, and socio-political concerns (child labour, slavery, class inequality). The article analyses key texts from the early and late periods as well as the poem “Aurora Leigh”, which makes it possible to compare the religious, social, and personal dimensions of motherhood in the author’s artistic world.

## Введение

Актуальность исследования определяется возобновившейся в литературоведении дискуссией о роли и статусе женщины как творческой личности (Горелов, 2021; Рыбкина, 2022; Остапенко, 2025; Фесенко, 2022; Бурылова, 2022; Dodds, 2025; Clarke, 2024; Rana, Rashid, 2020), которая усиливается на фоне распространения феминистских идей в современной российской гуманитарной повестке. Несмотря на достигнутое во многих сферах социальное равноправие, в литературном процессе по-прежнему устойчив стереотип о «женской поэзии» как о явлении особом и нередко воспринимаемом как вторичное по отношению к «мужской» традиции. Переосмысление гендерного измерения поэтического творчества возможно через обращение к опыту женского лирического сознания, особенно в условиях патриархальной культуры Англии XIX века. В этом контексте особый интерес представляет поэзия Элизабет Барретт Браунинг (1806-1861), для которой принципиальными были вопросы психологического и художественного статуса женщины-творца. Системное исследование её идейно-образного мира позволяет продуктивно уточнить постановку «женского вопроса» в литературе.

Жанровая и тематическая многоплановость поэзии Браунинг проблематизирует привычное деление тем на «мужские» и «женские» и тем самым утверждает право женской поэзии на универсальность. В рамках этой дискуссии особое значение приобретает разработанная поэтессой типология материнских образов.

В викторианской культуре тема материнства также приобретала особое значение, так как именно через неё представления о «канонической» женственности, самоотречении, заботе, нравственном служении семье, закрепились как ключевые гендерные нормы. Романтизация материнской роли задавала жёсткую модель эмоционального поведения женщины, где материнская любовь мыслилась как естественная, безусловная и в конечном счёте гармоничная. Однако историческая реальность викторианской Англии – высокая младенческая и материнская смертность, детский труд, расовое и классовое неравенство – постоянно разрушала эту нормативную картину. Тексты писательниц, стоявших у истоков феминистского движения, внесли существенный вклад в переосмысление материнских образов в культуре и этике. В этом контексте творчество Э. Б. Браунинг особенно актуально и представляет собой обширный материал для исследования. Поэтесса смело реагирует на социальные вызовы эпохи. В её поэзии материнство предстаёт не как фиксированный идеал, а как подвижная категория, изменяющаяся вместе с биографическим опытом и расширением социально-политической перспективы автора. Существенно и временное измерение этой темы: до замужества и рождения ребёнка Э. Б. Браунинг осмысляет материнство преимущественно как наблюдатель, тогда как позднее – как женщина, пережившая его телесные и психологические последствия. В том числе благодаря Э. Б. Браунинг женская поэзия середины XIX века включает материнство в поле публичных дискуссий – о насилии, эксплуатации, бедности и неравенстве – и тем самым делает видимой взаимосвязь личного и общественного. Амбивалентность концепции материнства, активно исследуемая поэтессой в поздний период творчества, в значительной степени предвосхитила сдвиги, произошедшие в связи с женским вопросом в общественном сознании.

В исследовании предполагается решение следующих задач: разработать периодизацию творчества поэтессы в соответствии с эволюцией концепции материнства; проанализировать роль автобиографического фактора в трансформации способов репрезентации образа матери; раскрыть сквозной характер темы утраты как принципа, связывающего разные периоды; обосновать соотнесённость поэтических стратегий Э. Б. Браунинг с викторианскими нормами женственности и материнства.

Материалом исследования выступают произведения Э. Б. Браунинг, включая детские стихи и тексты, охватывающие период с 1838 по 1861 годы, а также её письма как источник авторской рефлексии.

Основными методами исследования стали: культурно-исторический, благодаря которому концепция материнства в поэзии Э. Б. Браунинг рассматривается в контексте викторианских гендерных нормативов и социально-исторических реалий эпохи; биографический, позволивший соотнести трансформацию художественных репрезентаций материнства с жизненными обстоятельствами и тем самым уточнить роль автобиографического фактора; а также структурный анализ, давший возможность выявить устойчивые мотивы и образы, проследить их функции и динамику в текстах разных периодов и описать внутреннюю организацию материнского дискурса в художественном мире автора.

Представленные в работе оригинальные поэтические тексты не переводились ранее на русский язык, поэтому в процессе исследования были осуществлены их подстрочные переводы.

Теоретической базой послужили современные труды английских литературоведов Джона Тоша (Tosh, 2007), Сандры Дональдсон (Donaldson, 1980), Лоры Дж.Фолк (Faulk, 2013), Кэролайн Левин (Levine, 2006), Сандры Л. Спенсер (Spencer, 1991), чей фокус сосредоточен как на исследовании творчества Э. Б. Браунинг, так и на особенностях социокультурной среды XIX века.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его выводы могут применяться при комплексном анализе поэзии Э. Б. Браунинг и, шире, при изучении традиции английской женской поэзии. Полученные результаты могут использоваться при разработке курсов лекций и учебно-методических материалов по истории английской поэзии, викторианской поэтике, гендерным исследованиям и истории феминистской мысли в Англии, а также по теме эволюции женского авторства и образа женщины в европейском литературном процессе.

## Обсуждение и результаты

Творчество Элизабет Барретт Браунинг, по мнению современников, «одной из немногих женщин, достигших действительного превосходства в литературе» (Crow, 1907, p. 205), характеризуется существенной жанровой и тематической многогранностью. Её поэзия представляет собой цельную художественную вселенную, в которой осуществляются не только разнообразные жанровые эксперименты, но и последовательно раскрываются ключевые проблемные поля – религия, творчество, философия, любовные отношения и социально-политические вопросы. Особое место в этой системе занимает концепция материнства, через которую раскрывается сложная трансформация эстетических установок и философских ориентиров поэтессы. В первые два десятилетия взрослой жизни Элизабет Барретт оставалась незамужней, посвящая себя исключительно поэтическому искусству. В 1846 году сорокалетняя поэтесса тайно вышла замуж за Роберта Браунинга и в 1849 году родила сына. В статусе мисс Барретт она оставалась сторонним наблюдателем материнских переживаний, тогда как миссис Браунинг оказалась их непосредственной носительницей. Так, автобиографический фактор во многом обусловил разницу репрезентаций материнства как в ранних, так и в более знаменитых поздних произведениях, наглядно демонстрируя, как опыт рождения и воспитания ребёнка меняет женскую жизнь и, в частности, рефлексивную практику поэтессы.

Однако на формирование поэтической концепции материнства влияли не только собственные репродуктивные и воспитательные переживания поэтессы, но и первичная материнская модель – поведение и образ матери, выступившие для неё нормативным ориентиром в понимании материнской роли. Так, именно стихотворение 1814 года, подаренное маленькой Элизабет маме на день рождения, открывает галерею образов матерей в её творчестве. Мрачная атмосфера стихотворения резко контрастирует с радостным поводом, по которому оно было написано. Произведение представляет собой поэтическую зарисовку о погибшей в стужу матери и её детях: «Несчастливая мать с любовью / Прижала своих грудных малышей к груди / <...> Они сомкнули – закрыли бедные маленькие глазки. / Они умерли, довольные, в материнских объятиях» (“A wretched Mother, fondly pressed, / Her infant Babies to her breast / <...> They shut – they closed poor little eyes. They died, contented in their Mothers arms” (The Brownings’ Correspondence, 1984, p. 11)). Интенсифицируя обречённость матери за счёт навязчивого повторения эпитета «несчастливая» (“wretched”), поэтесса подчёркивает враждебность пейзажа по отношению к матери, её одиночество и беспомощность: «Было темно – буря гремела громко / <...> Ни один смертный там не жил – ни одна хижина не стояла!» (“T” was dark – the tempest blew aloud / <...> No mortal lived – no cottage stood!”) (The Brownings’ Correspondence, 1984, p. 11). В конце концов, вслед за детьми «эта несчастная мать ушла в свою водяную могилу» (“This wretched mother’s gone into her wat’ry grave”) (The Brownings’ Correspondence, 1984, p. 11). По сути, этим произведением инициируется сквозная для концепции материнства тема утраты. Именно процесс дистанцирования становится ключевым для материнского опыта: дети (как и их матери) дистанцируются через смерть или взросление. Элизабет Барретт Браунинг с детства и во взрослой жизни была близко знакома со смертностью детей (и матерей). Когда ей было восемь, умерла её трёхлетняя сестра; её мать умерла после того, как родила двенадцать детей; а сама поэтесса пережила четыре выкидыша, один из которых привёл к серьёзным осложнениям. Помимо влияния личного опыта, нельзя не отметить и специфическую чувствительность английского общества начала XIX века к материнской и младенческой смертности. По замечанию исследователя Лоры Дж. Фолк, «высокая младенческая смертность и осложнения, с которыми сталкивались многие женщины во время беременности, делали роды предприятием рискованным, но таким, которое замужние женщины почти неизбежно переживали» (Faulk, 2013, p. 42). Реконструированные годовые оценки за период 1837-1850 гг. демонстрируют страшную статистику: около 180-205 детских смертей на 1000 живорождений и приблизительно 500-600 материнских смертей на 100 000 родов (Schofield, Wrigley, 1981; Millward, 2001). К концу века ситуация, кажется, лучше не стала, так как «четверо из двадцати пяти детей умирали в течение первого года жизни <...> одни роды из ста заканчивались смертью матери, хотя замужние женщины беременели более чем несколько раз, на уровне 5,5 родов на женщину в среднем» (Faulk, 2013, p. 42). В таких реалиях счастье материнства неизбежно омрачалось осознанием уязвимости, опасности и угрозой смертельной утраты.

В ранний период творчества Э. Б. Браунинг предпринимает попытку интегрировать болезненный эмоциональный опыт утраты в концепцию материнства через религиозную символику. Эти произведения включены в сборник “The Seraphim, and the other poems” (1838), значительная часть стихотворений которого настолько пронизана религиозными мотивами, что это позволило критикам воспринимать её поэзию прежде всего через призму духовности: «Она была поистине религиозным поэтом <...> кажется, она постоянно жила с присутствием мыслей о Боге» (Crow, 1907, p. 22). Сборник, действительно, в некоторой степени стал своеобразной кульминацией неоднозначных религиозных идей, захвативших поэтессу в ранний период творчества. Несмотря на формальную принадлежность к протестантской традиции и признании христианской веры, её позиция отличалась самостоятельностью мысли: наследие семейной принадлежности к диссидентскому кругу, богатая воображением рефлексия и склонность к критическому осмыслению религиозных вопросов обусловили свободную интерпретацию поэтессой догматов. Более того, открытое отношение к церковным установкам дополнилось интересом к спиритизму и мистическим практикам. Рассуждая о духовной жизни, поэтесса часто обращается к образу «спадающей вуали тела» (The Brownings’ Correspondence, 1995, p. 255), подчёркивая иллюзорность и тщетность земного существования. В письме от 1832 года, рассказывая подруге о моральных тяготах переезда на новое место жительства, поэтесса делится ощущением оставленности так: «Ты знаешь, мать может забыть своё дитя – но “Я не забуду”» (The Brownings’ Correspondence, 1985, p. 40). Вторая часть фразы является цитатой из псалма, о чём далее поясняет сама поэтесса. Кроме того, дважды подчёркнутое местоимение «Я», кажется, обозначает первостепенность любви духовной (высших сил / Бога) над любовью земной (материнской).

Вопрос о соперничестве двух планов бытия, земной жизни и посмертия, решается в пользу второго совершенно детерминистским образом в “Isobel’s Child”. Мать, не сомкнувшая глаз над младенцем в лихорадке, измощена тревожными ожиданиями горя: «Только на губах её глубоко улыбка / <...> И она выражала растущую любовь; / А кто сумеет любить и отдыхать одновременно?» (“The deepening smile / <...> And that a deepening love expressed; / And who at once can love and rest?”) (Browning, 2013, p. 562). Младенец спит крепким сном, а его мать «час за часом на коленях» (“Hour by hour, on bended knees”) (Browning, 2013, p. 568) напряжённо молится: «О, не отнимай, Господь, моего дитя! <...> / И должно ли первенцу моему, кто научил меня материнской любви, / Быть первым, кто покажет мне саван и похороны?» (“Oh, take not, Lord, my babe away <...> / And must the first who teaches me / The form of shrouds and funerals, be / Mine own first-born beloved?”) (Browning, 2013, p. 568-569). Трогательная материнская молитва не остаётся без милости высших сил, и, кажется, что здоровье ребёнка начинает возвращаться к нему. Мать «цепляется» за своё дитя, лелея мечты о самом сокровенном материнском желании – слиянии со своим ребёнком: «...будем сидеть и сплетать / Души наши, научая друг друга / Чистым любовям ребёнка и матери! / Две человеческие любви станут одной божественной» (“...we shall sit

and intertwine / Our spirits, and instruct each other / In the pure loves of child and mother! / Two human loves make one divine”) (Browning, 2013, p. 571). Но на земле подобное «чистое» слияние невозможно. Ребёнок приходит в себя, уже побывавший в посмертной реальности, и просит об окончательном разлучении: «О мать, мать, ослабь молитву!<...> Оно связывает меня, удерживает меня / Своей любящей жестокостью, / <...> Оно связывает меня, удерживает меня / На этой тёмной, на этой тусклой / Низкой земле, по которой ходят лишь плачущие» (“O mother, mother, loose thy prayer!<...> It bindeth me, it holdeth me / With its most loving cruelty, / <...> It bindeth me, it holdeth me / In all this dark, upon this dull / Low earth, by only weepers trod”) (Browning, 2013, p. 576). Желание разлучения с матерью здесь представлено как стремление к небесам, что продуцирует целый ряд интерпретаций: от художественного переосмысления младенческой смертности до «предвосхищения» более поздних психоаналитических идей о потребности ребёнка разорвать связь с матерью» (Montewieler, 2019, p. 83). В любом случае, стереотипная жертвенная любовь матери исследуется с точки зрения ребёнка, т. е. того, на кого направлено желание слияния, и оказывается для него удушающей, «любящей жестокостью». Такая любовь несовершенна, о чём и говорит младенец, почти вступая в полемику с плачущей матерью: «Любовь! земная любовь! и можем ли мы любить / Непокосимо там, где всё движется? / Может ли грешная любовь любить другую?» (“Love! Earth’s love! And can we love / Fixedly where all things move? / Can the sinning love each other?”) (Browning, 2013, p. 580). Услышав его речь, мать уступает сыну, совершая, быть может, самый бескорыстный и парадоксальный, с точки зрения читателя, акт любви: позволяет ему умереть и вернуться к Богу. Изобель утешается обещанием воссоединения на небесах, слыша внутри себя «мелодию, / Удовлетворённой любви, / Что ничто земное не может осквернить» (“a sense of tune, / A satisfied love meanwhile / Which nothing earthly could despoil”) (Browning, 2013, p. 582). Тем не менее надежда на встречу с ребёнком в небесном бытии не означает успокоения безутешной матери на земле, а даже интенсифицирует чувство утраты. Для Изобель быть матерью – значит потерять самое дорогое существо на свете. В стихотворении «Спящий ребёнок» кажется, что ребёнок уснул, утомлённый дневными играми, но постепенно становится очевидно, что «сейчас он лежит мёртвый и немой» (“Now he lieth dead and dumb”) (Browning, 2013, p. 725). Его мать и отец представлены как безмолвные, почти посторонние фигуры, которым не предоставляется ни малейшей возможности выразить своё горе. Более того, в предпоследней строфе их боль ставится им почти в упрек: «Осмелитесь ли взглянуть друг на друга / И произнести благословляющее слово? / Не взорвётесь ли всхлипом, не признаетесь ли в слабости?» (“Dare ye look at one another, / And the benediction speak? / Would ye not break out in weeping, and confess yourselves too weak?”) (Browning, 2013, p. 725). Теперь родители разлучены с ребёнком не только потому, что находятся по разные стороны жизни. Они лишены трансцендентного зрения, не понимая, что «Возвышенный и разлучённый, / На руке Божьей он лежит» (“Lifted up and separated, / On the hand of God he lies”) (Browning, 2013, p. 725). Поэтесса, кажется, игнорирует чувства безутешных родителей, не только не сочувствуя, но даже обвиняя мать и отца за предполагаемое горевание: «Он безвреден – вы грешны, / Вы встревожены – он спокоен / <...> Не смейте благословлять его» (“He is harmless – ye are sinful, / Ye are troubled – he, at ease / <...> Dare not bless him!”) (Browning, 2013, p. 725). Исследовательница Сандра Дональдсон утверждает, что «тема христианского утешения в ранних стихотворениях кажется почти формульной, потому что [Барретт Браунинг] увещивает скорбящих матерей, говоря им, что они должны быть благодарны: их ребёнок теперь счастлив на небесах» (Donaldson, 1980, p. 52). В «Деве Марии к младенцу Иисусу» материнство снова становится пространством пересечения духовного и материального начал. Поэтесса транслирует уникальный взгляд, акцентируя человечность женщины, через которую воплотилась великая религиозная мистерия. Духовный символизм этого стихотворения особенно подчёркивает глубокую палитру материнских чувств от беспокойства и усталости до священного благоговения. Мария вглядывается в лицо новорождённого, задавая вопросы, знакомые каждой новоиспечённой матери: какая судьба уготована её ребёнку? Привела ли она своё дитя в этот мир для счастья или страдания? Духовная символика парадоксально обнажает конкретные, телесные смыслы. Для любой матери её ребёнок – бог, требующий поклонения, и беспомощное существо, нуждающееся в заботе и вскармливании: «Спи, спи, мой Святой! / Моё тело, мой Господь! – как назвать? Не знаю / Имени, что не звучало бы чересчур высоко или низко, / Слишком далеко от меня или от Неба» (“Sleep, sleep, mine Holy One! / My flesh, my Lord! – what name? I do not know / A name that seemeth not too high or low, / Too far from me or heaven”) (Browning, 2013, p. 746). Родившись, ребёнок впервые разлучается с матерью и начинает неизбежный процесс дистанцирования. Напряжение утраты связи с ребёнком слышится и в затруднениях подбора «Имени, что не звучало бы <...> / Слишком далеко от меня <...>» (“A name that seemeth not <...> / Too far from me <...>”) (Browning, 2013, p. 746), и в осознании конфликта телесного и метафизического – «Так, видя своё несовершенство, могу я увидеть / Совершенного, рождённого от меня» (“So, seeing my corruption, can I see / This Incorruptible now born of me”) (Browning, 2013, p. 749-750), и в пропасти между предназначённой для ребёнка судьбой и бессилием матери изменить пророчество: «Яркие ангелы, – не шевелитесь, – чтобы вы не встревожили тучу / Меж моей душой и Его будущностью!» (“Bright angels, – move not – lest ye stir the cloud / Betwixt my soul and His futurity!”) (Browning, 2013, p. 751). В финале стихотворения Марии остаётся лишь сквозь слёзы найти в себе силы разделить общую долю всех матерей на этой земле: взрастить ребёнка, отпустить прожить то, что уготовано, и смириться с невозможностью изменить это.

Тревога и горе сопровождают матерей и в первой редакции сборника “Poems” (1844). Стихотворение «Скорбящая мать умершего слепца» открывается, кажется, чересчур прямолинейным вопросом: «Плачешь ли ты, скорбящая мать, / О слепом своём мальчике в могиле?» (“Dost thou weep, mourning mother, / For thy blind boy

in grave?») (Browning, 2013, p. 942). Безутешная мать тоскует по той особенной близости, которую они делили со слепым ребёнком, перебирая в памяти светлые воспоминания об этой исключительной связи, запечатлённой в осязаемых моментах «его цепляющейся руки» (“his clinging hand”) (Browning, 2013, p. 943), «ласковых бесед / <...> среди ровных троп» (“sweet counsel / <...> Along smooth paths”) (Browning, 2013, p. 942). Ребёнок был особенно привязан к ней, так как она была его «глазами», опорой и проводником в этом мире: «...ты уже не сможешь / Показать ему / Солнце – по его теплу; / Серебряное течение реки – / По шёпоту у ног; / Листву – по её прохладе...» (“...thou canst no more show him / The sunshine, by the heat; / The river’s silver flowing, / By murmurs at his feet? / The foliage, by its coolness...”) (Browning, 2013, p. 942). Природному миру противопоставлен мир загробный, «вечное лето» (“lasting summer”) (Browning, 2013, p. 942), где теперь пребывает ребёнок, наделённый не только физическим, но и трансцендентальным зрением. Навязчивые риторические восклицания «Плачь же!» (“Weep on!”) (Browning, 2013, p. 942), «Терпеливо жди!» (“Wait on!”) (Browning, 2013, p. 943) лишь сгущают трагическую атмосферу с назидательными интонациями. Обещание того, что в будущем они воссоединятся на небесах, и ребёнок «введёт туда твои стопы, / Как ты когда-то вела его» не транслирует глубокой эмпатии, но будто в моменте увеличивает между ними дистанцию как физического, так и метафизического плана. Исследовательница Джулия Родас замечает: «В то время как ребёнок существует лишь в соотношении с матерью, сама мать признаётся достойной изображения только в связи со своим ребёнком – и то лишь в связи с инвалидностью и смертью ребёнка» (Rodas, 2007, p. 110-111). Кажется, в пространстве стихотворения горящая мать вновь лишена сочувствия.

В стихотворении «Спящий и Наблюдающий» инициатива дистанцирования теперь исходит от матери, при этом христиански окрашенные представления о второстепенности земного плана бытия отступают на дальний план. В поэтическом пространстве текста мать представлена не как молчаливая, заплаканная или тоскующая фигура, а как смертельно уставшая от забот и тревог женщина, лишённая сил даже подойти к дитя: «Я здесь, так же устала от боли, / Как ты, кажется, от удовольствий» (“I am near as tired of pain / As you seem of pleasure”) (Browning, 2013, p. 818). Она находится рядом, созерцая ребёнка с мягкой, нежной любовью: «Одна щёчка, выдвинутая рукой, / Складывает ямочку тихо: / Маленькая голова и маленькая ножка / Тяжело лежат от наслаждения» (“One cheek, pushed out by the hand / Folds the dimple inly: / Little head and little foot / Heavy laid for pleasure”) (Browning, 2013, p. 818). Хотя мать трогательно любит ребёнка, её материнская нежность подавлена усталостью. Она уже разлучена с ребёнком, не взаимодействуя, но только наблюдая, возможно, даже завидуя столь крепкому сну: «Буду спать также крепко» (“Shall I sleep as soundly”) (Browning, 2013, p. 819). Предчувствуя вероятную близкую кончину, мать не питает надежд на посмертное воссоединение с ребёнком, но предвидит одиночество и встречу с высшими силами: «Когда я вот так пробуждаю тебя / Ото сна, то лишь меня одну – / Меня от моего сна ангел / Разбудит святым побудом» (“That while you I thus recall / From your sleep, I solely, / Me from mine an angel shall / With reveillie holy”) (Browning, 2013, p. 819). По замечанию Сандры Дональдсон, «родительская любовь в ранних стихах – лишь бессильная тревога. В этих произведениях Элизабет Барретт показывает, что она не знает, о чём думают и что чувствуют матери, присматривая за своими детьми; её материнские сцены кажутся всего лишь живыми картинками» (Donaldson, 1980, p. 53).

В знаменитом «Плаче детей» поэтесса впервые использует «бессильную тревогу» материнства как центральный инструмент социального протеста. Дети измучены тяжёлым трудом настолько, что уже ищут «смерти, как наилучшего» (“Death in life, as best to have”) (Browning, 2013, p. 718). Образы матерей сведены к эпизодическим появлениям (первая и вторая строфы), что делает их отсутствие выразительным художественным приёмом. Дети тщетно ищут защиты у матерей, которые не могут противостоять бушующей индустриализации: «Они к матери прижали юные головки / Но это не удержит их слёз» (“They are leaning their young heads against their mothers / And that cannot stop their tears”) (Browning, 2013, p. 716). В ситуации политической и социальной несправедливости тела женщин утрачивают свою первостепенную функцию – защиту и кормление ребёнка: «...они стоят, / Плачут горько у материнских грудей» (“...they stand / Weeping sore before the bosoms of their mothers”) (Browning, 2013, p. 716). Разрушая ожидаемый читателем стереотипный образ матери, воспринимаемой как покров, укрывающий ребёнка от жизненных невзгод, поэтесса одновременно демонстрирует как личностное, так и политическое измерение таких явлений, как голод и детский труд. Этот приём обостряет восприятие читателя и делает страдания детей и матерей особенно наглядными. По этому поводу исследовательница Кэролайн Левин замечает: «Детский труд – национальная проблема. <...> Но это стихотворение представляет её одновременно и как провал домохозяйства: мы сталкиваемся с детьми, матерями, братьями и отцами, которые не могут позаботиться о самих себе» (Levine, 2006, p. 641).

«Плач детей» в некоторой степени знаменует собой переход к новому этапу в репрезентации материнства. Впервые вместо сентиментальной, сакральной модели матери проступает образ, встроенный в реальность – и потому политизированный. Произведения позднего творческого периода, появившиеся после 1850 года, меняют тональность. В это время в жизни поэтессы произошли драматические события: тайное замужество, бегство из дома, эмиграция в Италию, оборвавшиеся беременности и долгожданное материнство. Движение к более политически и эмоционально напряжённому изображению материнского опыта после пережитого ею лично не представляет возможным игнорировать. Мотив утраты, оставаясь связанным с темой младенческой смертности, расширяется за счёт психологического измерения: Э. Б. Браунинг анализирует, как женщина утрачивает автономию и свободу. В первом стихотворении, «Детская могила во Флоренции», написанном после рождения собственного сына, поэтесса выдвигает на центральный план горе родителей, которых она реально знала: речь шла о друзьях её семьи. Но та чуткость и сочувствие, которыми в значительной

степени пропитаны строфы произведения, обусловлены не только этой дружбой. Теперь Э. Б. Браунинг знает, что такое быть матерью. В письме к подруге она писала: «...осмелюсь сказать (я это знаю как мать), вы скорее прошли бы через любые личные страдания, чем были бы обречены видеть, как страдают дети, как это приходится стольким матерям, что сидят у постелей своих больных душевных милых чад...» (The Brownings' Correspondence, 2022, p. 95). Поэтесса не обходит стороной тему будущего воссоединения на небесах, но всё же именно изображение материнской тоски по ребёнку более выразительно. Скорбящая мать уже не утешается тем, что её ребёнок в лучшем мире. Она негодует, не смиряется со своей утратой: «Руки, лишённые ребёнка, она поднимает / С духом, не опустошённым, / “Бог не отберёт все Свои дары; / Моя Лили – моя на небесах...”» (“Arms, empty of her child, she lifts / With spirit unbereaven, / ‘God will not all take back His gifts; / My Lily’s mine in heaven...””) (Browning, 2013, p. 977). В сознании матери дочь всё ещё с ней: «Всё ещё моя! материнские права покойны, / Не отданные никому!» (“Still mine! maternal rights serene / Not given to another!”) (Browning, 2013, p. 978). Её воспоминания смешиваются с трагической реальностью, где она подбирает цветы на могилу, как подарок для всё ещё живой девочки. Осознание горя вспыхивает с новой болью: «Говорила “папа”, “мама” – затем умолкла / <...> И всё сердце растворяется в потоках, / Помня, что мы потеряли её» (“Said ‘father’, ‘mother’ – then left off / <...> And all the heart dissolves in floods, / Remembering we have lost her”) (Browning, 2013, p. 974-975). Это горе не означает для матери не только утрату ребёнка, но и утрату себя прежней, счастливой матери с планами на будущую жизнь. Оставшиеся годы жизни она проживёт с болью в сердце: «Нам – пустую комнату и кровать, / Ей – полноту Небес / <...> Нам – тишина в доме, / Ей – хоровое пение» (“To us, the empty room and cot, / To her, the Heaven’s completeness / <...> To us, the silence in the house, / To her, the choral singing”) (Browning, 2013, p. 978).

Насколько трогательно Э. Б. Браунинг делилась впечатлениями материнского опыта в переписке: «Ты спрашиваешь меня, растёт ли любовь – может ли она когда-нибудь стать больше, чем вначале. О да, растёт – может стать больше. Роберт сказал, когда ему не было и дня от роду: “Я чувствую, что уже мог бы отдать за него жизнь”, – и я, конечно, чувствовала то же самое. Но тогда это всего лишь пробуждающийся животный инстинкт – простая нежность защиты и радость обладания. Потом приходит любовь, которая видит в нём личность... когда душа маленького существа раскрывается и притягивает твою душу» (The Brownings' Correspondence, 2010a, p. 10). Этот опыт обогатил и поэтические образы детей. В ранних стихотворениях дети изображены как милые куклы, за которым не угадывается личности: «На густых кудрях твоих лежат / Золотые лучи мирно» (“On your curls’ full roundness stand / Golden lights serenely”) (Browning, 2013, p. 818), «маленький ротик, скованный сном» (“The little mouth so slumber-bound”) (Browning, 2013, p. 567), «О маленькое хрупкое существо» (“O small frail being”) (Browning, 2013, p. 567), «Молодые ягнята блеют в лугах; / <...> Но юные, юные дети, братья мои, / Они плачут горько!» (“The young lambs are bleating in the meadows; / <...> But the young, young children, O my brothers, / They are weeping bitterly!”) (Browning, 2013, p. 716). В стихотворении позднего периода «Песня для бедняцких школ Лондона» дети больше не кудрявые младенчики или ягнята, но очень разные. Это и «дети малые, / Разбросанные, как кляксы, по городу» (“children small, / Split like blots about the city”) (Browning, 2013, p. 1650), и «Дети в лохмотьях, босые» (“Ragged children with bare feet”) (Browning, 2013, p. 1650), «просящие, лгущие маленькие бунтари» (“Begging, lying little rebels”) (Browning, 2013, p. 1650), «терпеливые дети» (“Patient children”) (Browning, 2013, p. 1650), «Злые дети, с заострёнными подбородками / И постаревшими лбами!» (“Wicked children, with peaked chins, / And old foreheads!”) (Browning, 2013, p. 1651), «Больные дети, что хнычут тихонько» (“Sickly children, that whine low”) (Browning, 2013, p. 1651), «Здоровые дети, с этими голубыми / Английскими глазами» (“Healthy children, with those blue / English eyes”) (Browning, 2013, p. 1652).

В стихотворении «Всего лишь локон» поэтесса вновь пересматривает прежнее понимание утешения при гибели ребёнка. Кажется, она признаёт две ошибки ранней интерпретации христианского утешения: пренебрежение выражением скорби и утверждение окончательного разрыва родительско-детской связи. По сути, она вступает в полемику сама с собой. В «Ребёнке Изобель» мать принимает уход ребёнка, полагаясь на высший промысел: «...молилась, / Чтобы Бог исполнил свою волю; / <...> и так он разлучил нас» (“...prayed / That God would do His will; / <...> and thus He parted us”) (Browning, 2013, p. 582). Во «Всего лишь локон» даже после принятия в небеса ребёнок остаётся частью жизни родителей: «Бог дал его взаймы – и взял», – вздыхаете вы; / Нет, тут позвольте поспорить с вашей болью: / Бог щедр в дарении, – говорю я, – / И то, что Он даёт, – я отрицаю, / Что Он когда-нибудь может взять назад» (“God lent him and takes him, you sigh; / Nay, there let me break with your pain: / God’s generous in giving, say I, / And the thing which He gives, I deny / That He ever can take back again”) (Browning, 2013, p. 1699). Особое внимание обращает на себя метафора родов: «завеса тела / Разрывается вокруг нас, – и муки / Открывают пришествие материнства во власти» (“the veil of the body we feel / Rent round us, – while torments reveal / The motherhood’s advent in power”) (Browning, 2013, p. 1699). Имеющий особое значение для мировоззрения поэтессы образ «завесы тела» – земной оболочки, претерпевающей страдание ради соединения в акте рождения божественного и телесного пластов бытия, подчёркивает амбивалентность материнства. Ребёнок предстает одновременно «здесь» и одновременно «там», что фиксирует двойственность его присутствия и утраты. Физический разрыв воспринимается не только как телесный акт, но и как метафора эмоционального противоречия материнства: «И всё же моя рука – вокруг моего маленького сына, / И Любовь знает тайну Скорби» (“Yet my arm’s round my own little son, / And Love knows the secret of Grief”) (Browning, 2013, p. 1698).

В стихотворении «Мать и поэт» несчастная мать оплакивает сыновей, погибших за независимость Италии. Воспоминания о младенчестве выдвигаются на первый план, поскольку они выявляют амбивалентность материнства. Самый трогательный период, когда ребёнок наиболее привязан к матери, воспринимается не только

как время заботы и ласки, но и как источник физического дискомфорта: «В каком искусстве она хороша, кроме как ранить себе грудь / Молочными зубами младенцев – и улыбаться боли?» (“What art is she good at, but hurting her breast / With the milk-teeth of babes, and a smile at the pain?”) (Browning, 2013, p. 1710). Идиллическая сцена материнских объятий содержит и противоположный аспект – утрату личной свободы женщины: «Держать на коленях / Оба сокровища! чувствовать, как их руки у неё на шее, / Липнут, чуть душат!» (“To hold on her knees / Both darlings! to feel all their arms round her throat, / Cling, strangle a little!”) (Browning, 2013, p. 1710).

Помещение материнства в политический контекст также обнаруживает противоречие «материнства во власти» (Browning, 2013, p. 1699), «единственной связи в викторианскую эпоху, в которой женщина обладала властью над другими существами» (Montewieler, 2019, p. 80) и реальной уязвимости матери, её бессилия оградить детей от жестокости мира. Женщины не могут защитить своих детей от боли, а материнство не защищает женщин. Мать видит в погибших сыновьях, молодых мужчинах, всё ещё младенцев, тщетно пытаясь оправдать их смерть великой целью: «...моё горе казалось возвышенным – / Как выкуп Италии» (“my grief looked sublime / As the ransom of Italy”) (Browning, 2013, p. 1712). Экстраполируя опыт родов на процесс рождения нации, безутешная мать обретает сострадательный взгляд к другим женщинам, рождающим сыновей в периоды войн, и размышляет о неоднозначности и порочности процесса государственного строительства: «Но родовые муки народов со временем сожмут нас / В такой вой, как этот, – и мы сидим осиротевшие, / Когда рождается мужчина-мальчик» (“But the birth-pangs of nations will wring us at length / Into wail such as this – and we sit on forlorn / When the man-child is born”) (Browning, 2013, p. 1714).

Рождение знаменует собой не только начало новой жизни и будущей судьбы, но и новой жизненной главы для матери. Вместо того чтобы воспевать материнство как идеализированное, почти эйфорическое единение матери и ребёнка, творчество Элизабет Барретт Браунинг показывает противоречивую и многослойную связь между ними. Она открыто и честно размышляет о том, как деторождение влияет на женскую идентичность, о парадоксе одновременно близости и отчуждения по отношению к ребёнку. Этот уникальный женский опыт расширяет горизонты нового, но вместе с тем может разрушать прежнее ощущение себя. Не без некоторого сожаления она так пишет о рутине воспитания горячо любимого сына Видемана в письмах: «А теперь моя няня уехала навестить свою мать, и ребёнок полностью на моих руках, со всем этим кормлением, одеванием, умыванием и вообще с тем состоянием заточения, которое прилагается к этой привилегии. <...> Понимаете ли вы, как тяжелы эти цепи на моих руках и ногах?» (The Brownings' Correspondence, 2010b, p. 216). В следующем письме присмотр за любимым чадом удостоен новой метафоры заточения: «...я не могу никуда поехать ближайшие две недели из-за ребёнка: Уилсон едет навестить свою мать и оставляет его на моих руках – бедного милого, которого нужно мыть и одевать и ни на миг не выпускать из виду. Так что мне приходится отречься от мира, по крайней мере на эти две недели, – отправляюсь я в монастырь... нет, в детскую... и ожидаю, что буду совершенно измотана, как и в прошлом году, на этой почётной службе» (The Brownings' Correspondence, 2010b, p. 203). Обращаясь к амбивалентности материнства, Э. Б. Браунинг вступает на территорию, которую викторианское общество предпочитало считать запретной. Репрезентация безусловной материнской любви и заботы соответствовала закреплённым в викторианской культуре гендерным нормативам. В рамках викторианской моральной парадигмы доминирующей моделью «счастливой» женской судьбы считался брак, основанный на взаимной любви, а его логическое продолжение – рождение и воспитание детей. Исследуя культурные и социальные конструкты викторианского общества, Сандра Л. Спенсер замечает: «Викторианской женщине отводилась строго предписанная роль жены, матери и хозяйки дома. От неё ожидали покорности мужу, самоотречения ради детей <...> Образно говоря, её возносили на пьедестал, но в действительности ей приходилось очень тяжело трудиться – и умственно, и физически – просто чтобы соответствовать общественным ожиданиям» (Spencer, 1991, p. 22). Идеализированный образ жены и матери как нравственного центра семьи получил каноническое выражение в поэме Ковентри Патмора «Ангел в доме», название которой уже считается как «вместилище господствующих представлений о женщине» (Moore, 2015, p. 41). В подробном исследовании того, как жизнь английских мужчин XIX века была обусловлена викторианскими идеалами и их противоречиями, Джон Тош (Tosh, 2007) пристально анализирует именно перенесённую на материнство вариацию викторианского «ангела дома» – образ «ангела матери» (“Angel Mother”). Идеал «ангельской матери» делал дом нравственным «убежищем», созданным женским трудом, и формировал представление о доме как о моральной опоре в противовес стрессу публичного мира. При этом он одновременно возвышал мать символически и жёстко связывал её ролью бескорыстной служительницы семьи, а на мужчин влиял двояко: усиливал их эмоциональную зависимость от домашнего комфорта, но плохо сочетался с их повседневным отсутствием дома и расплывчатостью отцовской роли (Tosh, 2007). Сандра Л. Спенсер развивает эту мысль: «Частые беременности и рождения многочисленных викторианских семей ложились дополнительной физической нагрузкой на жену. <...> Если физические требования частого деторождения сказывались на ней телесно, то эмоциональные требования надзора за множеством детей воздействовали на женщину эмоционально. По мере роста семьи поддерживать порядок в доме становилось всё труднее, что приводило к усилению давления на мать семейства, поскольку обеспечение бесперебойной работы домашнего уклада было её обязанностью. <...> Даже если она нанимала няню или кормилицу, общество ожидало, что викторианская мать будет проводить большую часть времени с детьми. Мать должна начинать день с купания детей и завтрака вместе с ними. Позже ей следует проводить время, обучая их и играя с ними. Если дети заболели, место матери было у их постели» (Spencer, 1991, p. 20-21).

Тёмная сторона викторианского идеала «ангельской матери» смело раскрывается в стихотворении «Беглая рабыня у мыса Пилигримов». Текст затрагивает остро политизированную тему рабства: порабощённая негритянка, спасаясь от жестокости белого хозяина, бежит, убивая ребёнка, рождённого от него. Хотя связь

матери и ребёнка здесь в первую очередь искалечена порочностью социальных институтов, поэтесса в настоящему сильном драматическом монологе не замалчивает и материнскую неудовлетворённость, и неприязнь к ребёнку: «Я носила ребёнка у груди, / Как амулет, что висел слишком слабо / И в моей тревоге не мог успокоить; / Так мы и шли, стена – дитя и мать» (“I wore a child upon my breast / An amulet that hung too slack, / And, in my unrest, could not rest: / Thus we went moaning, child and mother”) (Browning, 2013, p. 708). Причём в монологе негритянки не менее подчёркнуты ненависть к угнетателям и системе эксплуатации, чем враждебность по отношению к ребёнку. Детоубийство становится логическим пиком этой ненависти, а не актом жалости или попыткой «спасти» его от будущей судьбы раба. Если нищета лишала британских матерей возможности выкормить детей, то рабство и изнасилование извращают материнство. Мать становится убийцей: «...я не могла / Смотреть ему в лицо: оно было таким белым. / Я накрыла его платком» (“...I could not bear / To look in his face, it was so white. / I covered him up with a kerchief there”) (Browning, 2013, p. 709). Насилие порождает насилие. Всякий раз, когда её взгляд падает на ребёнка – на непрерывное свидетельство насилия, – мать ощущает между ними бездну: их различие выступает как болезненная граница: «Ребёнку и матери / Нельзя смотреть друг на друга, / Когда один чёрен, а другой светел» (“...a child and mother / Do wrong to look at one another, / When one is black and one is fair”) (Browning, 2013, p. 710). Для неё этот ребёнок не «свой» и не связан с ней внутренне. Он переживается как чужой, как напоминание и одновременно элемент той самой системы подавления, которая её сломала: «Ведь в том единственном взгляде, что я успела / Увидеть на лице ребёнка... скажу вам всё: / Я увидела взгляд, от которого обезумела... / Господский взгляд – тот, что падал / На мою душу, как его кнут... или хуже!» (“Why, in that single glance I had / Of my child’s face, ... I tell you all / I saw a look that made me mad ... / The master’s look, that used to fall / On my soul like his lash ... or worse!”) (Browning, 2013, p. 710). Так, увязывая частную женскую судьбу с политической и расовыми конфликтами, Э. Б. Браунинг демонстрирует, что самая непорочная и священная, согласно викторианской идеологии, связь матери и ребёнка таковой может и не оказаться.

Поэма «Аврора Ли», «исключительно важное викторианское произведение и воплощение феминистического сознания» (Gelphi, 1981, p. 35), затрагивает широкий круг проблем: социальное неравенство и угнетение, гендерные конфликты, творчество, философские поиски и викторианские нормы. Тем не менее поэма не обходит вниманием и материнский опыт. Травматичность и внутренние противоречия становятся пространством, в котором поэтесса особенно пристально рассматривает проблему социального неравенства. Две женские линии – Аврора и Мэриан – с их разными судьбами, детством и отношением к материнству показывают, насколько личная история определяется социальными условиями. Это, в свою очередь, выявляет определённую долю лицемерия в идеале «ангела дома», поскольку становится ясно, что соответствие ему во многом зависело от социального положения женщины: «Поляризация между богатыми и бедными распространялась и на детей. Представители высшего и среднего классов нередко относились к своим детям с благоговением и даже сентиментализировали их. Сыновей и дочерей аристократии целенаправленно ограждали от “порочности мира” за пределами их привилегированного круга. <...> Дети бедняков, однако, жили совсем иначе. Работодатели нередко эксплуатировали их и относились к ним как к расходному материалу. <...> Дети трудились в домашней прислуге, на шахтах и на фабриках. Бесчисленное множество мальчиков получали увечья или погибали, работая трубочистами; опасные условия на фабриках и в ткацких мастерских также уносили жизни многих детей» (Spencer, 1991, p. 7-8). Отец Авроры, судя по всему, принадлежал к верхушке среднего класса, поэтому её детство прошло в условиях заботы и защищённости. Мэриан же, историю которой Аврора пересказывает, выросла в бедной неблагополучной семье, переживая домашнее насилие; в какой-то момент мать даже пыталась заставить её заниматься проституцией. Аврора, не имея собственного материнского опыта, всё же воспроизводит распространённо-сентиментальные представления о том, что значит иметь детей. Примечательно, что такие суждения можно понимать и как характерные для женщин высшего общества, и как отражение ранних взглядов самой поэтессы: «Женщины знают, / как растить детей (чтобы те были порядочными): / Им ведомо простое, весёлое, нежное уменье / Завязывать ленты, подбирать младенческие башмачки, / Нанизывать милые слова, что сами по себе бессмысленны, / И поцелуями вливать смысл в пустые слова» (“Women know / The way to rear up children, (to be just,) / They know a simple, merry, tender knack / Of tying sashes, fitting baby-shoes, / And stringing pretty words that make no sense, / And kissing full sense into empty words”) (Browning, 2013, p. 1184). В строфах о материнстве Мэриан проступает уже более зрелая позиция Э. Б. Браунинг. Материнская судьба героини как будто предрешена с рождения: «Её первый крик, в нашем чужом и удушающем воздухе, / Когда её в судорогах выбросила содрогаясь утроба, / Оказался “неправильным” по социальному кодексу» (“Her first cry in our strange and strangling air, / When cast in spasms out by the shuddering womb, / Was wrong against the social code”) (Browning, 2013, p. 1294). Приход ребёнка в мир заранее маркирован изъяном социальной системы, которая превращает естественное событие в знак принудительной вины. Нежелательная беременность после изнасилования становится для Мэриан, по-видимому, последней невыносимой травмой. Полностью восстановиться психологически ей уже не удаётся, однако пережитое всё же меняет её как личность. Для героини, чья жизнь с самого рождения была отмечена бедой, ребёнок превращается в новую опору, принося с собой не только боль, но и радость. Если Аврора мыслит материнскую любовь как чувство почти божественное, возвышающее, то любовь Мэриан – женщины, познавшей куда больше тёмных сторон жизни, – выражается прежде всего в агрессивной, настороженной защите. При этом и Аврора способна увидеть в материнстве риск. Так, в поэме отчётливо поднимается проблема того, как женщине совместить материнство и художественную самореализацию без потери себя: «Борьба, которая происходит в груди героини между порывами стать художницей и матерью – типичное чувство и желание, хорошо знакомое миссис Браунинг» (Crow, 1907, p. 134).

Итак, концепция материнства в поэзии Э. Б. Браунинг развивается от преимущественно религиозно-сакрализованных сценариев утраты и риторики «утешения» к более психологически напряжённым и социально ориентированным репрезентациям материнского опыта. Показано, что трансформация художественных стратегий обусловлена взаимодействием автобиографического опыта поэтессы с викторианскими нормами женственности и материнства, а также с социально-политической проблематикой эпохи. В результате материнство в художественном мире автора предстаёт как амбивалентный опыт: источник близости и смысла, но одновременно и утраты личной автономии.

### Заключение

Итак, представляется возможным сделать следующие выводы.

Разработанная в исследовании периодизация позволяет представить эволюцию концепции материнства как последовательную смену смысловых доминант. Переход от ранних текстов к поздним произведениям фиксирует качественное изменение авторской оптики: от внешнего наблюдения материнского опыта – к рефлексивной и конфликтной проговорённости, что и формирует целостную модель материнства в художественном мире поэтессы.

Трансформация способов репрезентации образа матери во многом обусловлена автобиографическим опытом поэтессы: беременностями, репродуктивными потерями и рождением сына. Ранние тексты нередко выглядят более условными и отстранёнными, тогда как корпус поздних стихотворений демонстрирует рост психологической напряжённости и эмпатии к материнскому опыту.

Главным связующим мотивом разных периодов выступает тема утраты. Э. Б. Браунинг подчёркивает, что материнство всегда включает дистанцию между матерью и ребёнком: разлука неизбежна и наступает через смерть, взросление или давление обстоятельств. В ранних произведениях утрата часто «объясняется» религиозными смыслами и идеей утешения, а в поздних – на первый план выходит боль и тревога матери, которая остаётся жить и вынуждена нести тяжесть этой разлуки.

Сопоставление с викторианскими представлениями о «правильной» женственности и материнстве показывает, что поэтесса не идеализирует эту роль. В поздних произведениях материнство становится способом говорить о проблемах общества: детском труде, бедности, рабстве, гендерном неравенстве. На этом фоне особенно заметно, что связь матери и ребёнка может разрушаться насильно, а сама материнская любовь у Э. Б. Браунинг амбивалентна: она даёт чувство близости и смысла, но приносит усталость, тревогу и ощущение уязвимости.

Перспективы дальнейшего исследования могут быть связаны, во-первых, с сопоставительным анализом репрезентаций материнства у Э. Б. Браунинг и других викторианских поэтесс в контексте английской женской поэзии XIX века; во-вторых, с изучением рецепции этих образов в феминистской критике, а также в социокультурном и литературном дискурсе «новой женщины» конца XIX – начала XX века. Кроме того, перспективным представляется и возможное комплексное изучение женских образов в творчестве и их типологическая классификация в контексте гендерной проблематики.

### Материалы исследования | Research materials

1. Browning E. B. Delphi Collection. Complete Works of Elizabeth Barrett Browning. Hastings: Delphi Classics (Kindle Edition), 2013.
2. The Brownings' Correspondence: In 31 Vols / ed. by R. Hudson, P. Kelley, S. Lewis. Winfield: Wedgestone Press, 1984. Vol. 1.
3. The Brownings' Correspondence: In 31 Vols / ed. by R. Hudson, P. Kelley, S. Lewis. Winfield: Wedgestone Press, 1985. Vol. 3.
4. The Brownings' Correspondence: In 31 Vols / ed. by R. Hudson, P. Kelley, S. Lewis. Winfield: Wedgestone Press, 1995. Vol. 13.
5. The Brownings' Correspondence: In 31 Vols / ed. by R. Hudson, P. Kelley, S. Lewis. Winfield: Wedgestone Press, 2010a. Vol. 17.
6. The Brownings' Correspondence: In 31 Vols / ed. by R. Hudson, P. Kelley, S. Lewis. Winfield: Wedgestone Press, 2010b. Vol. 18.
7. The Brownings' Correspondence: In 31 Vols / ed. by R. Hudson, P. Kelley, S. Lewis. Winfield: Wedgestone Press, 2022. Vol. 28.

### Источники | References

1. Бурылова А. В. Перевернутая женственность: образ матери в романе Оксаны Васякиной «Рана» // Сибирский филологический форум. 2022. № 3 (20).
2. Горелов О. С. Структура революционного фем-сюрреализма в поэтической практике Г. Рымбу // Litera. 2021. № 5.
3. Остапенко А. Б. Влияние гендерной принадлежности на вариативность языка // Филология: научные исследования. 2025. № 3. 2025.

4. Рыбкина А. Специфика образа лирической героини в творчестве Ах Астаховой // Вестник магистратуры. 2022. № 12-2 (135).
5. Фесенко Э. Я. К вопросу о специфике женской прозы // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2022. № 3.
6. Clarke D. The early modern canon and the construction of women's writing // Textual Practice. 2024. Vol. 38.
7. Crow M. F. Modern Poets and Christian Teaching: Elizabeth Barrett Browning. N. Y.: Eaton & Mains, 1907.
8. Dodds L. Dowd M. Early Modern Women's Writing and the Future of Literary History. Oxford: Oxford University Press, 2025.
9. Donaldson S. "Motherhood's Advent in Power": Elizabeth Barrett Browning's Poems About Motherhood // Victorian Poetry. 1980. Vol. 18. № 1.
10. Faulk J. L. Destructive Maternity in "Aurora Leigh" // Victorian Literature and Culture. 2013. Vol. 41. № 1.
11. Gelphi B. C. "Aurora Leigh": The Vocation of the Woman Poet // Victorian Poetry. 1981. Vol. 19. № 1.
12. Levine C. Strategic Formalism: Toward a New Method in Cultural Studies // Victorian Studies. 2006. Vol. 48. № 4.
13. Millward R. Infant Mortality in Victorian Britain: The Mother as Medium // Economic History Review. 2001. Vol. 54. № 4.
14. Montewielier K. Mother Cries: Elizabeth Barrett Browning's Poetics of Maternity // Tulsa Studies in Women's Literature. 2019. Vol. 38. № 1.
15. Moore N. The Realism of The Angel of the House. Coventry Patmore's Poem Reconsidered // Victorian Literature and Culture. 2015. Vol. 43. № 1.
16. Rana M., Rashid A. Feminist literary criticism: A paradigm of patriarchy in literature // Journal of Literature and Art Studies. 2020. Vol. 10. № 2.
17. Rodas J. M. Misappropriations: Hugh Stuart Boyd and the Blindness of Elizabeth Barrett Browning // Victorian Review. Elizabeth Barrett Browning: History, Politics, and Culture. 2007. Vol. 33. № 2.
18. Schofield R. S., Wrigley E. A. The Population History of England 1541-1871: A Reconstruction. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
19. Spencer S. L. The Angel in the House and The Woman in White: The Unfolding and Decoding of a Victorian Stereotype: Thesis ... Master of Arts. Denton, 1991.
20. Tosh J. A Man's Place: Masculinity and the Middle-class Home in Victorian England. New Haven: Yale University Press, 2007.

#### Информация об авторах | Author information

**RU****Нагайцева Ксения Анатольевна<sup>1</sup>**, к. филол. н.<sup>1</sup> Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)**EN****Ksenia Anatolyevna Nagaytseva<sup>1</sup>**, PhD<sup>1</sup> Bauman Moscow State Technical University (National Research University)<sup>1</sup> [owner3333@mail.ru](mailto:owner3333@mail.ru)

#### Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 05.02.2026; опубликовано online (published online): 19.03.2026.

**Ключевые слова (keywords):** Элизабет Барретт Браунинг; образ матери; поэма «Аврора Ли»; викторианская поэзия; мотив утраты; Elizabeth Barrett Browning; mother figure; поем "Aurora Leigh"; Victorian poetry; motif of loss.